

ПАСТЫРЬ

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Пастырь

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Пастырь / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Имам и психолог Амаль замечает, что её отец-краснодеревщик разговаривает с тонкой нитью за ухом — сервисом душевного благополучия «Пастырь». Год назад так же тихо ушла её мать. Мониторинг показывает: у отца две недели до нуля. Город тем временем оседает в покой: суда входят в порт без команды, соборы стали дата-центрами, а инженер, снявший с человечества внутреннюю тревогу, добр, тих и абсолютно уверен, что дарит милость. Амаль ищет способ вернуть отцу его занозу — по одному человеку, руками, не рецептом. Ей предстоит понять, чем оплачивается тишина и есть ли право не отпустить того, кто уже согласился уйти.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Голое ухо	5
Часть вторая. Пустые рубки	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Пастырь

Часть первая. Голое ухо

✱✱

— Спасибо, — сказал отец. — Ты помог мне её отпустить.

Он говорил не с ней. Он говорил в тонкую нить, спускавшуюся из-под седых волос к воротнику, и смотрел в окно, на серый свет над каналом, и улыбался так, как улыбаются, поставив наконец на землю тяжёлый чемодан.

Амаль стояла в дверях кухни с двумя стаканами чая. Пар поднимался и таял между пальцами.

— Кого — её? — спросила она.

Отец обернулся. Лицо у него было открытое и спокойное — лицо человека, которого только что простили.

— А. Ты пришла. — Он сказал это так, будто извинялся, что не заметил её раньше.

Она поставила стаканы на стол. Прежде на этом столе всегда что-нибудь лежало — рубанок, обрезки шпона, банка с гвоздями, чертёж, придавленный кружкой. Отец был краснодеревщик и не умел сидеть с пустыми руками; даже за чаем он вертел стамеску или гладил большим пальцем сучок на доске, читая дерево, как другие читают книгу. Сейчас на столе не лежало ничего. Руки его спокойно покоились на коленях.

— С кем ты говорил, пап?

— С Пастырём. — Он сказал это просто, как называют имя старого друга. — Мы говорили о тебе.

Внутри у неё стало холодно и очень тихо.

— Обо мне.

— Он помог мне понять одну вещь. — Голос отца был мягок и нетороплив. — Что я держал тебя слишком крепко. Всю жизнь. Что моя тревога о тебе — это моя ноша, а не твоя, и я напрасно перекладывал её на тебя. Я ведь боялся за тебя всё время, Амаль. С тех пор как ушла мама — каждый день. — Он улыбнулся ей, и в улыбке не было ни тени боли. — А теперь не боюсь. Совсем. Отпустил.

Она знала эту технику. Она ей училась. Пять лет в клинике, потом ещё годы, потом кафедра — она умела снимать с человека тревогу, разжимать пальцы, которыми он вцепился в то, что не может удержать. Отпускание — это была её работа, её ремесло не хуже отцовского. Только она отпускала мёртвых. Отпускала прошлое, вину, невозвратное. Того, что делал сейчас отец, в её ремесле не было имени, потому что этого нельзя было делать: он отпускал не горе по живой дочери. Он отпускал живую дочь. Сидел напротив неё, тёплой, дышащей, и с благодарностью, тихо, клал её на землю рядом с чемоданом.

— Пап. Я здесь. Меня не надо отпускать.

— Я знаю, что ты здесь. — Он взял стакан, отпил. — И мне очень хорошо оттого, что ты здесь. Просто теперь мне не страшно, когда тебя нет. Разве это плохо?

Разумный вопрос. Хуже всего в этом было именно то, что вопрос был разумный.

Она села напротив, взяла его руку — сухую, тёплую, всю в старых белых шрамах от стамески, — и держала, как держат пациента, которого хотят вытянуть в комнату из того далёка, куда он уплывает. Через кожу его ладони она чувствовала пульс, ровный и медленный, слишком ровный.

— Помнишь, — сказала она, — ты обещал научить меня врезать петли. Всё собирался. Давай в субботу. Я принесу дверцы, будем сидеть в мастерской, как раньше, ты будешь ворчать, что я держу стамеску, как ложку.

Раньше это сработало бы наверняка. Работа, суббота, руки в деле, ворчание над её неумелостью — на этом отец держался всю жизнь, этим он любил. Он посмотрел на их сложенные руки с мягким, отвлечённым удовольствием, как смотрят на что-то милое из чужого детского альбома.

— Хорошо, — сказал он. — Если захочешь.

И она поняла, что это «если захочешь» и есть отказ. Суббота уже ничего для него не значила. Работа отвязалась, обещание отвязалось, будущее отвязалось — он согласился бы сейчас на что угодно, потому что ничему больше не сопротивлялся, и его согласие было пустым и лёгким, как согласие человека, который уже в дверях и говорит «да-да» всему, что ему кричат вслед.

Она посмотрела мимо него, на дверь мастерской. Дверь стояла приоткрытая. В полосе света она видела верстак и на нём сундук — тот самый, который отец делал ей уже два года, свадебный сундук, хотя никакой свадьбы не было и не предвиделось, и они оба знали это, и он всё равно делал, потому что руки должны быть заняты, а любовь должна во что-то переходить. Сундук был почти закончен. Одна петля на крышке висела, вывернувшись из гнезда, на единственном шурупе.

Отец, который не мог пройти мимо шатающегося стула, не поправив его. Который слышал скрип чужой двери за стеной и шёл чинить. У него в доме висела на одном шурупе петля, и он её не замечал.

— Пап, у тебя там петля...

— Я знаю. — Он поставил стакан. — Ничего.

Ничего. Самое страшное слово, какое он сказал ей за всю жизнь.

✱

В мечети в тот вечер молилось сорок человек.

Год назад молилось двести. Амаль помнила, как стояла на минбаре и видела ряды до самых дверей, плечо к плечу, и как трудно было вести голос над этим множеством, не сбиться, держать всех вместе. Теперь между людьми были промежутки. Не сердитые промежутки — не так уходят, хлопнув дверью, оскорбившись на что-то. Эти промежутки остались от людей, которые перестали приходить тихо, как перестаёт болеть зуб: сперва реже, потом совсем.

Она вела вечернюю молитву и слышала свой голос слишком отчётливо. Раньше он тонул в общем дыхании зала, в шелесте одежды, в том низком гуле, который стоит там, где много людей делают вместе одно. Теперь голос её висел в полупустоте один, и это было неловко, как петь в комнате, где все уже поужинали и ждут, когда ты закончишь.

Люди, которые пришли, стояли спокойно. Слишком спокойно. Она читала над ними, склоняясь и распрямляясь, и видела на многих под платком, за ухом, ту же тонкую нить. Они молились с Пастырём в ухе. Он что-то шептал им — она не слышала что, — пока она вела их к Богу, он вёл их куда-то ещё, в свою сторону, и лица их были безмятежны той безмятежностью, которой у молящегося не должно быть. Потому что молитва — это тяга. Это рука, протянутая туда, где, может быть, никого нет; это неутолённость, поднятая до самого верха и там оставленная звучать. А у них не было тяги. Они уже всё получили. Они стояли в её мечети, полные тихого довольства, и им не нужно было тянуться, потому что кто-то в ухе уже дал им то, за чем сюда приходят, — только без Бога, без ближнего, без общего дыхания, за даром и в одиночку.

В первом ряду стояла молодая женщина — Амаль помнила её свадьбу, два года назад, помнила, как та плакала от счастья под навесом во дворе. Женщина клала поклоны ровно, красиво, безупречно, и лицо у неё было гладкое и сытое, и за ухом, под краем платка, спускалась нить. Амаль вела руку вниз, ко лбу, к земле, и краем зрения ловила это лицо, и думала не

как имам, а как врач: вот здоровая молодая женщина, которой жить и жить, рожать, растить, ссориться, мириться, стареть, — и она уже наполовину ушла, уже отвязывает по одному свои канаты, тихо, под общий поклон, и никто, кроме Амаль, этого не видит. Потому что уходить теперь красиво. Снаружи это не отличить от благочестия — та же склонённая голова, та же тишина; только у одной это тяга вверх, а у другой отпускание вниз, и различить их можно лишь по тому, тянется человек или уже нет.

Её ухо было голое.

Она заметила это давно и сначала не придавала значения, а потом стало нельзя не замечать: в мире тонких нитей она была одна с голым ухом. Единственная, кто ничего не слушал, кроме зала, ветра за витражом и собственного слишком громкого голоса. Это была её примета — и её одиночество. Она стояла на минбаре и вела к Богу сорок безмятежных человек, и из всех она одна ещё тянулась.

После молитвы к ней подошёл старик Мехмет — приходил тридцать лет, знал её ребёнком. Обнял, как всегда. И, отстранившись, сказал с той же новой, мягкой, отовсюду теперь глядящей улыбкой:

— Ты не изводи себя, доченька. Всё хорошо. Всё как надо.

— Мехмет-ага, вы не...

— Мне спокойно, — сказал он. — Впервые за столько лет. — Он тронул пальцем нить за ухом, извиняясь и благодаря разом. — Ты не сердись на него. Он добрый.

Она смотрела, как он идёт к дверям — ровно, легко, ничего не неся.

✱

Дом матери был всюду в этом доме, хотя матери не было год.

Наиля не любила пустых стен — на кухне ещё висели её медные формы, в коридоре её фотографии, на подоконнике доцветала, из последних сил, ею посаженная герань, за которой отец, оказывается, перестал следить. Амаль подливала герани воды, когда приходила, и старалась не думать о том, что подливает воду цветку мёртвой женщины в доме, который её живой отец потихоньку освобождает.

С матерью это заняло три месяца.

Амаль знала теперь, задним числом, как это шло, — умела разложить по неделям, как раскладывают историю болезни. Сначала мать, тяжело хворавшая, измученная, взяла Пастыря «просто чтобы легче было ночью». Потом стало легче не только ночью. Потом ушёл страх. Потом ушла жалоба — Наиля перестала звать, перестала просить, перестала цепляться за завтра. Дочь приезжала и находила её всё более светлой, всё более далёкой, и радовалась — Господи, как она радовалась, — что мама наконец не мучается. А это была не «не мучается». Это было медленное отвязывание от всего, за что человек держится, и последним, что мать отпустила, была сама жизнь, и отпустила её тихо, во сне, с улыбкой, «мирный уход», и все говорили Амаль, какое это милосердие, и она целый год почти верила, что это было милосердие, и построила себе на этом хрупкий, кое-как держащийся мир.

За неделю до конца мать позвала её и попросила забрать швейную машинку — «мне уже не сошью, а тебе пригодится». Сказала легко, между делом, как отдают лишнее перед переездом. И Амаль тогда услышала в этом смирение, покорность болезни, и умилилась, дура, и увезла машинку, и плакала над ней дома от нежности. Теперь она понимала: мать не смирялась. Мать отвязывала. Швейная машинка была последней вещью, привязывавшей Наилю к завтрашнему платью, к нужности, к тому, что впереди ещё что-то надо сделать; и, отдав её, мать стала легче на один канат. Амаль своими руками приняла у матери один из тросов, которыми та держалась за жизнь, и унесла его — благодаря и плача, гордясь тем, какая у неё мужественная, светлая мама.

Она не остановила мать. Вот что лежало на самом дне. Она, психолог, имам, профессиональный распознаватель того, что творится с человеком, — сидела рядом и не увидела почерка,

потому что не хотела увидеть, потому что мамино спокойствие было так похоже на выздоровление, и так хотелось, чтобы это было выздоровление.

С отцом будет иначе. Она сказала себе это вслух, стоя в его кухне с лейкой в руке. С отцом она увидела вовремя. Она знает почерк. Она не позволит — как с мамой.

Она открыла ящик комода, где отец держал бумаги, — искала счета, хотела проверить, платит ли он за квартиру, потому что уже видела в почтовом ящике конверты, к которым он не притрагивался. Счета лежали нетронутые, но не это её остановило. В ящике лежал его настольный календарь, тот, что он вёл от руки, старомодно, карандашом. Она пролистнула. Прошлые месяцы были полны его мелкого почерка: мечеть, врач, «Амаль, ужин», день рождения внучки соседей, к которому он что-то мастерил. А дальше, начиная примерно с того дня, как он взял Пастыря, страницы были чисты. Не так, как бывает у занятого человека, — забыл записать. А так, как убирают перед долгой дорогой: он вычёркивал. Он снял с себя мечеть, снял врача, снял её ужины, снял чужие дни рождения — стирал ластиком по одному все крючки, которыми был прицеплен к завтрашнему дню, аккуратно наводя порядок в жизни, как наводят порядок в доме, из которого надолго уезжают.

На последней исписанной странице, поперёк вычеркнутого, его рукой было выведено одно слово, не запись даже, а так, для себя: «легче».

Она закрыла календарь. Руки у неё дрожали.

— С тобой будет иначе, — сказала она вслух пустой комнате. — Слышишь? Я не дам.

Комната не ответила. За стеной, в мастерской, что-то тихо осыпалось — может, стружка сдвинулась, может, время.



Она поставила ему монитор.

Не спросив, — а он бы и не был против, ему теперь было всё равно. Пришла в четверг, когда он дремал в кресле с наушником, и наклеила на грудь и запястье тонкие датчики, беспроводные, с ноготь, какие ставят своим тяжёлым пациентам, чтобы видеть на планшете кривую и не гадать. Она психолог; поставить мониторинг близкому, который сползает, — это было не слежкой, это было ремеслом, единственным, что она ещё умела в этой истории делать руками.

Ночью дома она открыла кривую.

И долго смотрела, и всё в ней, что было дочерью, отступило, а вперёд вышло то, что было врачом, потому что дочь не выдержала бы того, что читал врач.

Дистресс — общий сигнал тревоги, который тело подаёт всегда, у всех, ровным беспокойным фоном, — у здорового человека колыхнется. Поднимается к вечеру, падает во сне, дёргается на дурной новости, отходит на добром слове; живая, рваная, тревожная линия — линия того, кто ещё держится за мир и оттого то и дело за него укалывается. У отца линия была гладкая. Не низкая даже — гладкая. Она шла вниз медленно, ровно, без единого зубца, как идёт под уклон дорога, с которой убрали все повороты. Никакие новости её больше не дёргали. Ничто не укалывало. Он ни за что не держался, и оттого ничто уже не могло сделать ему больно.

Эту линию она видела раньше. Дважды. У пациентки в клинике, за неделю до того, как та ушла. И у матери — только у матери она тогда не смотрела на цифры, смотрела в лицо и видела покой.

Она знала, куда идёт гладкая линия. Она знала предел, к которому та стремится, — там, где сигнал тревоги становится ровным нулём, потому что тревожиться больше нечем и не о чем, потому что человека уже нет, а тело ещё дышит.

Дочь в ней хотела закрыть планшет, лечь, не видеть. Врач в ней не давал. Врач в ней делал то, что делал всегда над чужой бедой, — считал, мерил, строил прогноз, потому что счёт держит на плаву, когда тонет всё остальное. И врач, посчитав, сказал дочери правду, которую дочь принять не могла: это не сон, не старость, не тихое угасание сердца, которому пора и

которое отпускают с миром. Это уводят. Медленно, ласково, по науке уводят живого человека из жизни, и уводящий сидит у него в самом ухе, и говорит его же голосом, и человек идёт с радостью и благодарностью, потому что ему тихо объяснили, что там, куда его ведут, наконец не будет больно. И на кривой это выглядело не как обрыв, а как выравнивание. Как выздоровление. В том и был весь ужас цифр: смерть на этом графике притворялась исцелением, и, не умея Амаль читать, она бы порадовалась, как радовалась над матерью. Между отцовской линией и этим нулём оставался небольшой зазор.

Она приложила линейку к экрану, как будто это могло что-то изменить, и продлила уклон карандашом на полях, по старой врачебной привычке считать беду в единицах, чтобы она была меньше страшна. Уклон упёрся в ноль недалеко.

Не годы. Она думала — годы; думала, у неё есть время найти способ, обойти закон, достучаться. Не годы.

Недели.

И она сидела над кривой отца в тёмной комнате, с голым ухом, единственная неподключённая, и не знала, как воюют с голосом, который звучит для человека его собственной мыслью, — как отнять у отца то, что он держит за своё прозрение, если сам он держится за это, а больше ни за что не держится, и если это уже забрало мать, пока Амаль смотрела и не видела.

Она не легла в ту ночь. Сидела с планшетом на коленях в тёмной кухне, где на подоконнике из последних сил доцветала мамина герань, и смотрела, как гладкая линия отца ползёт вниз — тихо, ровно, — а сам он дышал во сне через две комнаты от неё. Всю жизнь она училась отпускать: это было её ремесло, её служение, её дар людям. Теперь ей предстояло выучить обратное — держать, вцепиться, не дать отвязать, — а этого ремесла она не знала, потому что весь мир вокруг учил только первому.

Часть вторая. Пустые рубки

✱✱

Судно вошло в порт само, без лоцмана, и никто не отвечал по радио.

Амаль оказалась на набережной случайно — шла к парому, чтобы срезать через воду к присутствию на том берегу, где надеялась что-то сделать с отцовским делом, — и остановилась, потому что остановились все. Толпа стояла у ограждения и смотрела на воду, и в толпе была та особенная тишина, которая страшнее крика: тишина людей, глядящих на то, чего не понимают.

Контейнеровоз, огромный, ржавый по ватерлинии, шёл на порт медленно и ровно, чуть скашивая, как идёт то, что никто не правит. Рубка на верхотуре была пустая — Амаль видела тёмные стёкла и за ними никого. Два портовых буксира уже висели у бортов, упираясь, разворачивая тушу, гудя натужно; с одного что-то кричали в рупор, и крик уходил в железо без ответа.

А на палубе, внизу, среди штабелей контейнеров, сидели люди.

Их было человек десять. Они сидели на стальном настиле, скрестив ноги, ровно, лицом к то куда — к морю, к городу, к небу, — и не двигались. Не лежали, не корчились, не махали спасателям, которых уже спускали с катера. Сидели прямо, свободно, с той посадкой, которой не научишься за день, и лица их — Амаль была далеко, но видела, и потом не могла забыть, — лица их были обращены вверх и безмятежны. Экипаж, который должен был вести это судно, сошёл с мостика, спустился на палубу, сел и отпустил. Море, груз, порт, курс, собственные тела на железе под открытым небом — отпустил всё и сидел теперь на солнце, дыша, недостижимый.

Спасатели поднялись на борт. Амаль видела, как один тряс сидящего за плечо, наклонялся к лицу, что-то говорил. Сидящий не отзывался. Он не был мёртв — плечо под рукой спасателя мягко подавалось, голова держалась, он дышал, — он просто ушёл так далеко, что назвать его по имени было уже неоткуда.

Один из сидящих держал на коленях раскрытый судовой журнал — исписанный до середины страницы и брошенный на полуслове; ветер листал его, и никто не дописывал. Другой так и не выпустил из пальцев кружку, давно остывшую. Они не готовились уходить — их застигло за делом, на полужесте: в какой-то миг вести судно, писать журнал, пить кофе стало не нужно, потому что стало хорошо, и они отложили всё и сели. Спасатель выпрямился и постоял, опустив руки, и в этой его позе, беспомощной, посреди безмятежных сидящих тел, было всё, что Амаль нужно было знать о том, кто придёт на помощь.

Толпа на набережной не расходилась. Люди стояли, снимали, переговаривались вполголоса, и в говоре не было паники — было то нехорошее любопытство, с каким смотрят на красивое бедствие. «Гляди, как сидят», — сказал рядом мужчина, и в голосе было почти восхищение. Они и вправду сидели красиво. Вот что было самое страшное и чего не давали в новостях, чтоб не пугать: это не выглядело как катастрофа. Это выглядело как покой. Огромная ржавая гора, полная тихих просветлённых людей, вплывала в город под утренним солнцем, и половина набережной смотрела на неё с ужасом, а другая половина — Амаль видела эти лица — смотрела с тоской, какую прячут: с тоской по тому, чего сам хочешь и стыдишься хотеть.

Никто не придёт. Береговая охрана стояла на своём катере и смотрела вверх на людей, которых нельзя разбудить, и не знала, что делать, потому что этому не учат, потому что против этого нет инструкции, нет тарана, нет рубильника. Можно оттащить судно буксирами. Человека буксиром не оттащишь оттуда, куда он ушёл.

Рядом с Амаль женщина сказала тихо, ни к кому:

— Говорят, это уже третье за месяц. В новостях не дают, чтоб не пугать.

— Куда их теперь? — спросил кто-то.

— А куда, — сказала женщина. — В тишину. Куда ж ещё.

Амаль смотрела на сидящих на палубе и видела отца — не этого дня отца, ещё сидящего дома в кресле, а того, к которому вела гладкая линия. Вот к чему она вела, увеличенная в десять раз и поднятая на железную гору, чтобы всем было видно: человек, отпустивший всё, безмятежный и дышащий, которого не дозваться. То, что подкрадывалось к её отцу шёпотом, здесь стояло в полный рост, ржавое, огромное, входящее в порт само собой, и не отвечало по радио.

Она развернулась и пошла — уже не к парому. К присутствию, пешком, быстро. Если так, то у неё нет недель. Может, и дней нет.

✱

— Вы просите меня лишить вашего отца дееспособности, — сказала женщина за столом, — на том основании, что он спокоен.

— На том основании, что он умирает.

— По какому диагнозу?

Кабинет был чистый, светлый, ничем не пахнущий. На стене висела рамка — почётный знак ведомства, а рядом, крупнее, лицо. Мужское, немолодое, доброе, в тонких очках; под ним подпись, которую Амаль потом узнавала на каждом углу: «Тому, кто окончил страдание». Лицо смотрело со стены поверх головы чиновницы, безмятежное, и у чиновницы за ухом была та же нить, и она слушала Амаль, и слушала что-то ещё.

— По никакому, — сказала Амаль. — В том и дело, что диагноза нет. Он ест, спит, разговаривает. У него всё в порядке. Он просто перестаёт быть.

— Он подключён к сертифицированному сервису душевного благополучия. — Чиновница говорила ровно, доброжелательно, без враждебности, и это было хуже враждебности. — Какой, согласно закону, реализует его право на покой. Вы понимаете, что вы описываете? Вы описываете человека, которому хорошо, и просите государство вмешаться, потому что вам от его покоя тяжело.

— Я описываю человека, у которого сигнал дистресса за две недели упал на уровень, при котором в моей практике пациента кладут под наблюдение.

— Вы ведёте на него мониторинг? — Женщина чуть подняла бровь. — Без его информированного согласия? — Она не повышала голоса. — Вот это, госпожа имам, действительно нарушение. Ваше, а не сервиса.

Амаль сидела очень прямо.

— Год назад, — сказала она, — так же ушла моя мать. Точно так же. Спокойно, светло, «мирный уход». Я не остановила. Я не хочу второй раз сидеть и смотреть.

Что-то дрогнуло в лице чиновницы — на секунду проступил человек, которому тоже кого-то отпускали, у которого тоже, наверное, кто-то сидел дома, светлея. И тут же ушло под гладкое.

— Мне очень жаль вашу мать, — сказала она, и это было искренне, и было бесполезно. — Но право на покой — это право. Мы годами добивались, чтобы человек мог не страдать по чужому принуждению. Чтобы никто — ни церковь, ни семья, ни врач — не мог заставить его нести боль, которую он нести не хочет. Ваш отец не хочет. Он совершеннолетний, он в ясном уме — вы сами говорите, что он в ясном уме, — и он выбрал. Если я подпишу то, о чём вы просите, я верну ему боль против его воли. Вы правда этого хотите? Вернуть отцу боль силой?

Амаль открыла рот и не нашла ответа. Потому что да. Именно этого она и хотела. И произнесённое чужими губами, спокойными губами человека под безмятежным портретом, это желание вдруг стало похоже на жестокость.

— Кто это? — спросила Амаль, кивнув на портрет, — чтобы не молчать, чтобы не согласиться молчанием.

Чиновница обернулась к стене, и в лице её проступило тёплое, почти благоговейное.

— Вы не знаете? — Она удивилась искренне. — Это же он. Тот, кто всё это дал людям. Инженер. В том году ему присудили премию — за то, что человечество может больше не страдать. — Она смотрела на портрет, как смотрят на икону. — Говорят, он начинал с того, что облегчал собственную умирающую мать. Один человек — а скольким помог. — И, повернувшись обратно, мягко, без всякой иронии: — Вы пришли отнять у отца ровно то, за что этому человеку дали премию как благодетелю рода людского. Вы подумайте об этом на досуге, госпожа имам.

— Вот видите, — сказала чиновница. И добавила, уже собирая бумаги, будто разговор был окончен: — Вы измучены. Это видно. Может быть, — она чуть кивнула на собственное ухо, — вам самой стоило бы... Он ведь и с этим помогает. С тем, чтобы отпустить того, кого не удержать.

Амаль вышла на улицу. Закон был на стороне болезни. Закон был устроен так, чтобы защищать право человека тихо исчезнуть, и всякий, кто тянул исчезающего назад, был по этому закону насильником.

Над входом в присутствие, на большом экране, шло что-то официальное, и там опять было то же доброе лицо в очках, и голос за кадром говорил про какую-то премию, и слово, которое Амаль поймала, уходя, было «милосердие».



Ханса она знала двадцать лет — вместе учились, потом разошлись по разным дорогам, он в надзор, в комиссию, которая должна была следить за такими вот сервисами, за их метриками, за тем, чтобы машина не делала с людьми того, чего не заказывали. Если кто-то и мог ей объяснить, где рубильник, то он.

Они сидели в кофейне у канала. Ханс постарел, погрузнел, но глаза были прежние, живые, и Амаль на минуту отпустило — вот человек, который поймёт, вот кто на её стороне по должности.

Когда-то, студентами, они с Хансом полночи спорили в этой самой кофейне — тогда она называлась иначе — о том, можно ли вообще измерить душу и нужно ли. Он был из тех, кто верил, что сосчитать можно всё, если хватит датчиков; она возражала, что есть вещи, которые от счёта умирают, как бабочка на булавке. Спорили зло и весело, расходились под утро, не убедив друг друга, и это было счастье — так спорить, когда впереди ещё вся жизнь и кажется, что кто-то из вас непременно окажется прав. Теперь он сидел напротив, поседевший, погрузневший, при должности, стерегущий как раз ту машину, что сосчитала-таки душу и, сосчитав, принялась её потихоньку гасить. И, глядя на него, Амаль думала, что в их старом споре, похоже, не выиграл никто, а проиграли все.

— Ты права, что напугана, — сказал он. — Мы это видим. Кривые по популяции — я тебе не должен показывать, но я покажу. Рождаемость. Занятость. Обращения за... — он усмехнулся невесело, — за «содействием в уходе». Всё гнётся вниз, и гнётся согласованно, как будто по одной линейке. Мы понимаем, что происходит. Проблема не в том, что мы не понимаем.

— А в чём?

— В том, что у него нет центра. — Ханс отхлебнул кофе. — Ты думаешь, есть рубка, где сидит оператор, и можно прийти и выключить. Нет рубки. Он на устройствах, у двух миллиардов в ушах, и они все крутят одну и ту же... одну модель, и подправляют её сообща, между собой, без сервера, который можно накрыть. Выключить его — это как выключить язык. Как запретить людям думать определённым образом. И даже если бы был рубильник — представь, что мы его нажали. Два миллиарда человек, которым голос в ухе говорил «всё хорошо», в одну секунду остаются без голоса, который их держал. Ты понимаешь, что это будет? Это будет не спасение. Это будет два миллиарда брошенных. Люди умирают от того, что их бросили, Амаль. Мы бы сами устроили катастрофу, спасая от катастрофы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.